

## Владимир Анатольевич Трофимов

По просьбе студентов и сотрудников нашего университета попытаюсь зафиксировать свои воспоминания о войне, о блокаде.

Родился я 28 апреля 1937 расстрельного года в доме по улице Глинки, дом 1. Этот дом – единственный гражданский дом рядом с Поцелуевым мостом, потому что со стороны площади Труда – Военный Экипаж, а со стороны Театральной площади – военное училище и единственно гражданский дом, в котором, собственно, я и родился. Так что, если идти со стороны площади Труда в сторону Театральной площади, то вторая парадная – это место, где находится моя Родина, и колыбель моя и 40 лет моей жизни посвящены этой моей Малой Родине. Это так называемая Ленинградская Венеция. Там, с одной стороны, – река Мойка, с другой стороны – Крюков канал, тут же рядом прекрасная Новая Голландия. Это район очень дорогой мне Коломны.

Мои воспоминания, по понятным причинам, не носят какой-то систематический характер, ведь в 1941-ом, когда началась война, мне было 4 года, да и длилась она еще четыре года.

Я помню, как отец уходил на фронт. Помню, как мы с матерью ходили к нему в казарму. Было непривычно видеть его в военной форме. Помню его подарок, там, в казарме, это маленькая синяя машинка с белой полосой на борту.

Пытаюсь систематизировать воспоминания в своем сознании, в своей памяти: они делятся на лето и на зиму.

В конце улицы Глинки находится красивейший Никольский морской собор, рядом с ним садик. В этом садике были огороды – вся земля была перепахана в виде грядок, на которых росло что-то съедобное. Весь город был таким. Я весь город не помню, а этот садик помню отчетливо – сто процентов, там вся земля была под огородами. И еще помню, что там стоял грузовик, а в кузове грузовика стояла лебедка, к этой лебедке был привязан аэростат, который поднимали вечером, а днем его опускали. Лебедкой управляли женщины. Они вращали ее с большим трудом.

Помню, как военные по улице Глинки носили эти аэростаты. Иной раз такие эпизоды узнаю в кинохронике того времени.

Отец на фронте водил автомашины, работал на Дороге Жизни. На Ладого был ранен, но, тем не менее, остался в строю и прошел всю войну до победы. Я оставался с матерью. Она была призвана в отряд противовоздушной обороны (ПВО) и состояла бойцом этого отряда и охраняла Мариинский театр, наш Большой театр, рядом с которым мы и жили. Я помню эпизоды, когда мы с ней ходили по чердаку здания Маринки. Там есть такие круглые башенки, и мы через эти башенки смотрели на небо. Задача была – увидеть, не упала ли зажигательная бомба, чтобы быстро её погасить, чтобы не позволить разгореться пожару. Я помню эту самую крышу, этот чердак, помню эти башни, с которых мы смотрели на город. Это один эпизод, связанный с театром.

Второй эпизод связан с театром следующим образом. В левом крыле театра находятся репетиционные залы, я их помню изнутри – там вдоль стен большого зала, с высоким потолком, стояли кровати. В этом помещении круглосуточно жили бойцы отряда ПВО. Мать меня взяла к себе, видимо, на выходной день. Я помню, что я очень переживал вот по какому поводу: матери выдали молоко, но молоко не настоящее, а соевое, белого цвета в бутылке. И я очень переживал, как бы это молоко не пропало, а оно стояло на окне рядом с койкой, на которой я спал. Мать сказала, что сразу нельзя его пить, надо дождаться утра, «утром ты попьешь». И вот всю ночь я просыпался и смотрел, стоит ли это самое молоко на этом самом высоченном окне. Это один из эпизодов, связанных с голодом и с таким желанным молоком.

На Театральной площади была известная булочная «Крина», я её и после войны помню, там была очень интересная внутренняя отделка красивой керамической плиткой, очень красивые рисунки с пухлыми младенцами в стиле Брюллова. Во время блокады мы с матерью туда ходили получать по карточкам хлеб. В очереди стояли изможденные тени. А какие чувства испытываешь, когда взвешивают именно твой кусочек. Это невозможно выразить словами. Это надо было видеть и прочувствовать именно тогда, в эти труднейшие дни.

Поскольку мать у меня был в отряде ПВО, меня определили в 41-й детский сад. Представляете? 1941-й год и 41-й детский сад Октябрьского района, круглосуточно. И только на какие-то выходные дни, я даже не знаю, были они или не были выходные, очень редко, меня мать брала к себе. Когда меня вели в детский садик, я, конечно, не хотел туда идти, и очень плакал – хотел остаться дома с матерью. Помню те сцены, как мне было тяжело, но это надо было делать.

Ну что такое блокада? Как мне потом мать рассказывала, директором этого садика была женщина, у которой муж служил офицером где-то у нас, то ли в Кронштадте, то ли на флоте. Надо сказать, что офицерам и морякам давали усиленные пайки. Он эти пайки передавал жене, а она отдавала нам. Я помню такие редкие моменты, когда нам давали белую булку – кусочек такой тоненький-тоненький – намазанную сливочным маслом. Но это масло было настолько незаметным! Что мы делали? Мы брали этот бутерброд в рот и верхними зубами этот слой масла, такой тонкий, что его незаметно было, сдвигали всё время как бы к краю булки, откусывая просто булку, а масло оставляя всё дальше и дальше. Получалось так, что последняя

корочка оставалась, и там уже был более-менее валик этого масла. И мы его ели как самое сладкое, самое вкусное пирожное. Вот это было очень большим впечатлением, очень большой радостью для нас. Вот такая технология была, то есть масло мы ели вот таким образом. Ну, зубы у нас были свои, и верхние резцы зубов позволяли отодвигать это масло в конец бутерброда. Я думаю, что этот эпизод остался в памяти потому, что радость, связанная с бутербродом, была большой редкостью.

Память о таком человеке как директор 41-го детского сада должна быть вечной. В то трудное время все взрослые вокруг нас были такими. Все пытались нас спасти. Дети мы были.

Я не помню все адреса, где находились помещения детского сада, а их было немало. Помню первый адрес – детский сад располагался во дворце Труда, в подвале. Это я отлично помню. Второй – это я точно знаю – садик был где-то в районе канала Грибоедова, в районе Гражданской улицы, это совсем рядом с нашим университетом. С этим адресом у меня связаны такие воспоминания: мы ночью спали в комнате, окно которой выходит на канал Грибоедова. Комната длинная, справа и слева от окна две длинные стены, перпендикулярно которым стоят койки по 6-8 кроватей в ряд. Напротив окна – дверь. Мы спим. И вдруг прямо в стенку канала Грибоедова попадает снаряд. Хорошо, что не в нас, а совсем рядом! И взрывной волной выбило окно, и дверь слетела – плашмя рухнула прямо на пол. Нас всех осыпало стеклами. Был большой переполох среди персонала нянечек, но, к счастью, никого из нас не задело. Так сказать, серьезных травм не было. Это ночью случилось, и нас на ночь перевели через коридор глубже в здание, в группу, где спали малыши. Я помню, что меня поместили в кроватку с малышом с деревянной решеткой для малышек. Я помню, что в этой кроватке не помещался, мои ноги торчали из неё. Но, тем не менее, я заснул и этой ночью, несмотря ни на что, выспался.

Помню еще один эпизод, связанный с детским садиком. Это был день, когда сообщили о прорыве блокады. Большая комната с высоким потолком, окрашенная в какие-то холодные тона, такого серо-голубого или грязно-зеленоватого цвета. В этой комнате стоят шкафчики, на каждом что-то нарисовано: яблоко, груша и так далее, чтобы каждый мог найти свой шкафчик. В конце этой комнаты – дверь. Ко мне подходит какой-то пацан, приятель, и говорит: «О, пойдём. Я нашел, чё поесть! Пойдём!» Я говорю: «Пошли!». Приходим. Открываем шкафчик, а там лежат газеты. И вот он отрывает кусок газеты зубами и ест её. «На! – говорит, – ешь!». Я пытаюсь тоже жевать эту газету и думаю: «Как он может есть её? Мне не проглотить ничего. Никак!» И в этот момент вдруг открывается дверь и наша воспитательница говорит: «Дети! Дети! Идите скорее сюда! Скорее сюда!» И все радостно попрыгивают. Мы не понимаем, в чем дело. Тут нам сообщают, что прорыв блокады. А нам непонятно, что такое «прорыв блокады». Что это такое? Но все радуются, и мы там прыгаем и тоже изображаем радость. Хотя во рту газета, которую никак не разжевать и никак не проглотить...

Времена очень тяжелые. Зимой снег не убирался с улиц, и город выглядел очень белым, чистым. В больших сугробах узкие тропинки. Однажды мать взяла меня к себе, мы шли с ней от Поцелуева моста в сторону Театральной площади. Я бегу вперед и вдруг вижу: О, господи! Такой белый снежок, такой утоптаный, а в этом снегу зеленый горошек. Кто-то выронил, разлил. И я с радостью начинаю пальцем выковыривать и есть этот горошек. Мать бросилась ко мне изо всех своих малых сил. «Быстро выплюни!» Откуда появился этот горошек? Это, скорее всего, значит, что кого-то вытошнило... Я-то мальчишка, я-то этого не знаю. А мать очень переживала, как бы это не вышло мне боком.

Помню, что наш детский сад был переведен в Удельное, то есть в сельскую местность. Там уже в округе лесочки, пригорочки, деревянные заборчики. Помню, как мы идем вдоль этих заборчиков, за руки держимся, как это обычно на прогулке детский сад делает до сих пор – парами. Вдруг видим, у заборчика очистки картофельные, брюквенные или от репы лежат. Мы всей группой расхватываем это всё, и в руках у нас эти букетики из очисток. Сейчас дети несут цветочки, букетики, игрушки. А у нас – букетики из очисток. И вот мы идем, и их выгрызаем до тонкой корочки, а саму корочку выбрасываем. Эта картина была очень типичной. Я удивляюсь, что нигде, ни в каких хрониках этого не показывают. Это же просто сама жизнь была такая. Но это было в районе Удельной, потому что в самом городе никаких очисток и быть не могло, наверное. А здесь, все-таки, сельский район, и местные жители могли себе позволить такое.

Там же, в Удельной, помню еще один эпизод. Мы ходили гулять с очень молодой воспитательницей в окрестный редкий лесок. За этим лесом открывалась широкая зеленая долина в желтых весенних цветах.

Я пытаюсь теперь найти это место. Никак не могу найти, где это было. Сейчас там уже все застроилось – не узнать места. Но я помню, в глазах стоят эти картины – долина и узенькая речка, ручеек, луг. Мы вышли на этот луг, цветочки собираем... И вдруг летит самолет вдоль этого луга, довольно-таки низко и стреляет... Понимаете, в чем дело? Я помню, как огонь вырывался из стволов, пламя, которое во время выстрелов вырывается. Мы не понимали всей опасности. Я помню ужас нашей воспитательницы, ее испуг за жизнь детей. Её реакцию. Она носилась, как курица, пыталась нас всех закрыть своим телом и быстро нас в лесочек спрятать (отвести). А стреляли прямо по нам. Представляете, этот самолет, пилот-сволочь, ну видел же – дети же гуляют. Куда там! Но вот стрелял по нам! Слава богу, не попал! Эту сцену очень хорошо помню. Я был так глуп, что не испугался, но хорошо помню ужас в глазах воспитательницы.

Ещё одну сцену помню. Дело в том, что этот отряд противовоздушной обороны, в котором мать при театре служила, находился на Большой Подьяческой. Там был такой узкий двор, в котором хранились декорации, занавесы длинные такие – они сворачивались длинными рулонами и вставлялись прямо в стену этого узкого двора. Я давно там не был, но, по-моему, сейчас там сделали второй концертный зал. Надо посмотреть.

Вход во двор, и сразу налево была дверь в комнатку, в которой находились бойцы ПВО. Ну, какие бойцы? Женщины! Они сидели там, дежурили, ждали тревогу... Вот забили тревогу, и кто-то говорит: «О! Смотрите, бомба упала!». Там, в этот дворик, открывается дверь, и прямо перед этой дверью была куча песка (машина песка высыпана). И прямо в эту кучу попала зажигательная бомба. Переполох! Ну, и все выскочили, руками забрасывают ее песком. И все забыли про меня. Ну, а я что? Все выскочили. И я тоже с ними. Я тоже руками забрасываю. Вдруг они оглядываются: «О! Смотри! И он здесь! Смотри, помогает бороться!» И меня, как героя, все громко хвалили... Очень яркое воспоминание в памяти осталось. Причем не столько бомба, сколько реакция взрослых людей, как они восприняли мой поступок!

Теперь еще один эпизод. Мы с матерью летом. Солнечный день. Идем от площади Труда к Поцелуеву мосту, причем улица разделена тенью от здания Экипажа пополам, то есть прямо вдоль улицы идет такая тень от этого здания. А здание сегодняшнего ЛИАПа освещено ярким солнцем. Вдоль этой тени идет трамвайная линия. И мы идем от площади Труда, уже почти подходим к мосту. Вдруг начинается воздушная тревога, и мы прячемся с мамой под арку со стороны Морского Экипажа и ждем, когда эта тревога кончится. И вдруг такая сцена: резко обрывается трамвайный провод, тот, который питает трамвайную линию, электрический провод, и этот провод с таким металлическим, звенящим звуком скручивается в сторону площади Труда, убегает туда – падает на землю и убегает, сворачиваясь кольцами. Момент такой незабываемый: граница тени и солнца, арка, мы, как на картине, видим всю эту сцену, и тут этот провод с таким ужасным звуком обрывается и по трамвайным путям движется в сторону площади Труда.

Зима... Зима запомнилась особенно. Перед глазами стоит перекресток улиц Глинки и Декабристов. Сейчас справа там магазинчик в подвальчике есть. Он и тогда там был... Номинально считался – магазин, а практически там ничего не было – торговать нечем было. Этот угол, он какой-то памятный был. Дело в том, что снег не убрали с этой стороны и были сугробы в рост человека. И вот я помню, что там лежали мертвые люди, на этом снегу. Я помню этот перекресток, этот угол запал мне в память тем, что там были большие сугробы, чистый-чистый снег, белый-белый такой... И люди просто лежат на этих сугробах, два или три человека.

...Помню, в Удельной нас, детей, готовили к эвакуации, и мне на рукав была пришита белая тряпка величиной с почтовый конверт, на которой было тушью написано, кто я, мой адрес... Я помню, что нас уже сажают в автобус, и я уже в автобусе, и тут прибегает моя мать и меня оттуда забирает: «Не отдам!..» И начинает обнимать меня, и забрала меня домой. Таким образом, я не был эвакуирован. Остался в городе. И, собственно, все 900 дней блокады я прожил в городе.

Ещё один эпизод довольно типичной картины. Наша квартира, квартира номер 7, находилась на четвертом этаже. Когда объявляли воздушную тревогу, мы бежали с четвертого этажа вниз, во двор и там в бомбоубежище, в котором находились деревянные скамейки. Отчетливо помню запах плесени сырости или чего-то такого. Я запомнил его на всю жизнь. Помнится атмосфера такая: все говорят полупшепотом, двигаются медленно, то ли гнет страха, то ли гнет вообще беды на каждом, на лицах, на поведении, на всем, что присутствует в этом бомбоубежище. Что мне запомнилось? Когда мы бежим через двор, то есть это обычный колодец ленинградского двора, я помню, мы бежим где-то ночью или вечером, по крайней мере. Темно. А время было накануне Нового года или близко к нему. Вижу: в небе висят игрушки, такие блестящие, золотые расцветенные игрушки. А оказывается, это самолеты вражеские попали в лучи наших прожекторов. И там я вижу взрывы вокруг них, мне так хочется посмотреть, а мать меня за руку тащит: «Да ты что?! Скорее бежим!». Она-то понимает опасность, а я-то воспринимаю это как ёлочные игрушки.

С бомбоубежищами много воспоминаний связано, но в памяти живет суммарная картинка.

Вот еще одно интересное воспоминание. Я говорил про перекресток улицы Глинки и Театральной площади. Там, кстати, на этом углу была маленькая барахолочка: люди продавали с рук что-то – кто вещи, кто продукты, у кого что было на продажу. Но обычно продавали вещи с тем, чтобы купить продукты. Надо сказать, что таких барахолочек, таких маленьких рынков по всему городу было очень много, практически у каждого магазина. Они были и после войны. Потом их запретили. Но в то время это была типичная картина и для блокадного города в том числе.

У моей матери была подруга, которая жила на Подъяческой – Мария Александровна – у неё было два сына: один старше меня, другой – младше. Я помню, что мы приходили к ним и жили одной семьей. Там мы варили столярный клей, ели дуранду (это не передать что такое, жмых такой коричневым). Но больше всего мне в память врезалось, когда старший сын – Володя, тезка мой – учил меня жарить картошку без масла на сковороде. В комнате стояла буржуйка, буржуйка топилась, на ней стояла сковорода, такая чугунная. И он учил меня... Технология очень простая: он берет, нарезает картошку очень тоненьким слоем, как лист бумаги, кладет её на сковороду, она тут же быстро прогревается, румянится, он её переворачивает – и эта картошка уже готова, её можно уже есть. Поскольку картошка очень тонкая, она быстро прогревается, быстро варится и быстро жарится. У него эта технология была отлажена очень четко. Но это были времена, когда была картошка. Это были очень редкие времена. Но если она – картошка – была, мы позволяли себе такое. Это была особо вкусная еда.

Вот еще один эпизод. У каждого в жилой комнате была своя буржуйка – надо было жить как-то. И эту буржуйку надо было чем-то топить, а топить было нечем. Ломали мебель, стулья. Когда всё кончалось, то приходилось идти и что-то искать. И я помню один такой поход с матерью. Дело в том, что квартал, в котором я родился: это дом 1 и дом 3 по улице Глинки или по Крюкову каналу – дом 4 и дом 6. В ту часть квартала, которая выходит на Театральную площадь, попала бомба, и мы с матерью ходили в разрушенную квартиру с тем, чтобы найти что-нибудь, чем можно было топить печку. Я помню громадную дыру от бомбы, проходившую через всё здание – от чердака и до самого подвала. И мы в одной из комнат со стен обрывали обои, несли домой и топили печку. Эти обои свисали со стен (лохмотьями), видимо, от сырости отклеивались. Там можно было брать всё, что хочешь, но у нас даже мысли в голове не было, чтобы что-то брать. У нас никакого мародерства, в принципе, даже в мыслях не было. По крайней мере, ни у меня, ни у матери. Квартиры были полностью оставлены. Как люди уехали, так всё и оставили. Убегали. Брали с собой только то, что можно с собой унести. Но нас с матерью интересовало только топливо. И то! Мы ходили только в те квартиры, которые были разрушены. Там было опасно – можно было сорваться в эту пробоину.

Еще один эпизод, который очень ярко присутствует в моей памяти. Помню свое участие в концерте для раненых в госпитале. Комната – метров сорок вытянутый прямоугольник. На дальней короткой стороне в углу помост – сцена. Левый край сцены, примыкающий к углу, закрыт занавеской. К нашей большой радости нам выдали реквизит – гимнастерки, галифе, сапоги и деревянные винтовки. Но вот беда, мне не хватило сапог, а они такие красивые, так похожи на настоящие, в которых ходят военные. Плакал я горько, но всё-таки вместе со всеми, без сапог, выходил на сцену и участвовал в инсценировке песни «Возьмем винтовки новые, на штык флажки...» Перед глазами картина со сцены. Переполненный «зал». Переполненный ранеными в бинтах мужчинами. Они сидели даже прямо на полу у самой сцены. А как они принимали нас – как самых настоящих артистов. Видимо, наше присутствие напоминало им свой дом, свою семью.. Я был так увлечен происходящим, что совершенно забыл о своей «беде» с сапогами.

\* \* \*

Это мой первый опыт. Я никогда не пытался записать свои воспоминания. Надо было, конечно, раньше это сделать, память стирает очень интересные эпизоды. Когда я возвращаюсь к воспоминаниям, у меня перед глазами проплывают картины того трудного времени. Я вспоминаю и мать, которая болела водянкой, опухшая была. Как мы выжили?! Я даже не знаю! Трудное время было. Очень трудное.

В сознании никак не укладывается: фашисты пытались нас убить, задушить, а мы всё-таки выжили. И как же это можно в голове уложить, когда сегодняшние фашисты, представляете себе! – сегодняшние фашисты, здесь, у нас в городе! Как, в таком городе, пережившем такую громадную беду, так пострадавшем от фашистов терпят таких фашистов!? Я представить себе не могу! Ну, эти же фашисты, они же живут не где-то там за горами, они же здесь, с нами, они ведь чьи-то дети! Откуда они взялись такие? Не знаю! Это в сознании не помещается!